

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ О ТОЛСТОМ

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ЛЕКЦИЯ 1928 г.

Предисловие К. Н. Ломонова

Публикация В. Д. Зельдовича

Творчество Толстого было предметом изучения А. В. Луначарского, начиная с 1911 г. Толстому посвящено более 35 его статей, лекций, докладов, из которых напечатано около тридцати. Многие из них были опубликованы и не раз переиздавались. В 1928 г., в связи с празднованием 100-летия со дня рождения великого писателя, был издан сборник статей Луначарского «О Толстом». В него вошли семь статей, и среди них — «Толстой и Маркс», «Ленин о Толстом», «Толстой-художник» и другие статьи, в свое время вызвавшие большой интерес у читателей.

В основу своей оценки литературного наследия Толстого Луначарский положил ленинское утверждение: «Это наследство берет и над этим наследством работает революционный пролетариат». В статьях и высказываниях Ленина о Толстом Луначарский стремился найти ключ для ответа на множество сложнейших вопросов, возникающих при изучении наследия великого писателя.

Лекция о Толстом, впервые публикуемая в настоящем томе «Литературного наследства», была прочитана Луначарским уже после того, как толстовский юбилей был отпразднован. В ней Луначарский как бы подводит итоги всему, что было напечатано и сказано о Толстом в период юбилея. Вместе с тем Луначарский считал ее «как бы некоторым актом чествования» Толстого. И это в известной мере обусловило характер лекции: в ней дан яркий портрет Толстого — человека, мыслителя, художника.

С итоговым характером лекции связана ее многотемность: Луначарский стремился осветить в ней многие проблемы и вопросы, относящиеся к наследию Толстого, вызывавшие в 20-х годах острые споры и дискуссии. Центральной темой лекции, как, впрочем, и большинства других выступлений Луначарского о Толстом, является тема «Значение наследия Толстого для советского общества».

Во второй половине 20-х годов Луначарскому приходилось защищать и отстаивать наследие Толстого от нападок «левых» критиков, требовавших чуть ли не запретить издание его произведений, предлагавших превратить юбилей из чествования писателя в его «проработку». Наиболее рьяные из «левых» критиков обвиняли Луначарского в том, что он искажает ленинскую оценку мировоззрения и творчества Толстого, и требовали у него публичного признания своих ошибок.

Превосходный полемист, Луначарский с блеском парировал нападки своих критиков, убедительно показывая всю вздорность и вредность их призывов сбросить Толстого «с корабля современности». При этом он опирался на ленинские высказывания о Толстом, пропагандировал ленинскую концепцию Толстого.

Естественно, что в дискуссиях и спорах об оценке наследия Толстого в те годы на первый план выдвигался Толстой-мыслитель, Толстой-философ. Борьба с «историческим грехом толстовщины» в ту пору была еще очень острой. И Луначарский большую часть статей, докладов и речей о Толстом посвящает анализу и оценке мировоззрения писателя. В публикуемой лекции лишь четвертая ее часть отведена Толстому-художнику, а три четверти — Толстому-мыслителю. В таком соотношении, в такой расстановке акцентов нашла яркое выражение печать времени. Печать времени лежит

и на многих суждениях Луначарского о Толстом. Он искренне стремился следовать ленинской концепции мировоззрения и творчества великого писателя, но в целом ряде его высказываний о Толстом отчетливо выступают следы непреодоленного влияния плехановской оценки Толстого. Особенно они заметны в публикуемой лекции.

Отвечая на вопрос о том, как советские люди должны относиться к наследию Толстого, Луначарский подчеркнул: «Плеханов сказал, что мы принимаем Толстого „отсюда и досюда“. Наши юбилейные торжества сказали то же самое: „отсюда и досюда“».

Подобно Плеханову, Луначарский называет Толстого баринином и в его протесте против капитализма видит выражение «сословной ненависти к буржуазии, к мещанству, к капиталистическому укладу». Он придает большое значение тому, что «Толстой происходил из очень крепкой помещичьей семьи и сам был очень крепким помещиком». Луначарский утверждает, что «до 80-го года» в Толстом «преобладал классово-сознательный дворянин». А «отсюда и «Война и мир» в трактовке Луначарского есть», «Илиада» русского дворянства», в ней Толстой якобы дал «апофеоз дворянства».

Характеризуя историческую эпоху, воплотившуюся в произведениях Толстого, Луначарский прибегает к терминологии «школы Покровского». Он говорит о «развитии хлебного производства и хлебной торговли на новых началах», как решающем факторе, влиявшем на идеологию передового «более или менее деклассированного» дворянства.

Когда Луначарский касается вопросов психологии творчества и стремится определить «биологические стимулы», коренившиеся в особенностях личности Толстого, от его суждений веет духом фрейдистской «науки».

Но, разумеется, не этими — ошибочными и давно устаревшими — сторонами может заинтересовать нашего читателя лекция Луначарского. Мы должны подойти к ее оценке, имея в виду не только сегодняшний уровень нашей науки о литературе, но и ее уровень середины 20-х годов.

В то время еще только утверждалась в литературоведении ленинская концепция наследия Толстого и даже такие крупные и талантливые критики, каким был Луначарский, не могли сразу постичь всю ее глубочайшую мудрость, хотя искренне стремились к этому.

На первых же страницах лекции Луначарского мы находим много верных и ярких слов о значении ленинской оценки Толстого. Статьи Ленина о Толстом Луначарский называет гениальными и видит в них «могучий компас, ориентирующий нас».

Возникает законный вопрос: замечал ли сам Луначарский, что некоторые из его суждений о Толстом не только не совпадают с ленинскими определениями, но и прямо им противоречат? Да, замечал.

В статье «Ленин о Толстом» Луначарский говорит, что «многое и положительное и особенно отрицательное в Толстом выросло из его барства». И вот что он пишет вслед за этим утверждением: «но характерно и превосходно в анализе Ленина то, что он совсем оставляет в стороне это барство, и о нем упоминает, как о вещи второстепенной» (А. В. Луначарский. О Толстом. М., 1928, стр. 64—65).

В большой статье «О творчестве Толстого» Луначарский первые две главы посвящает ленинской оценке взглядов и произведений писателя. Вопреки тому, что он много раз писал и говорил о «барстве» Толстого, в этой статье Луначарский, проникнувшись духом ленинского подхода к оценке Толстого, утверждает: «В нем <Толстом. — К. Л.> могли остаться разные помещичьи черты, но назвать такого человека выразителем интересов помещичьего класса никак нельзя» (там же, стр. 98. — Курсив мой. — К. Л.). Здесь же он подчеркивает, что Толстого жизнь рано «выкидывает за пределы дворянского класса». И далее Луначарский высказывает много интересных мыслей о Толстом как идеологе патриархального крестьянства.

Объявив в своей лекции «по-плехановски», что Толстого мы принимаем «отсюда и досюда», Луначарский тут же спешит заявить, что он выступает против механического деления Толстого на мыслителя и художника. Как известно, такое деление лежит в основе плехановской оценки Толстого. Нет никаких сомнений в том, что подобные отступления от Плеханова были вызваны стремлением Луначарского понять Толстого в духе ленинской оценки его наследия. Однако в данной лекции это не вполне удалось.

ТОЛСТОЙ

Рисунок В. Е. Маковского, 1906 г.
Дом-музей Толстого в Хамовниках.
Москва



Так, оценив «Войну и мир» как «„Илиаду“ русского дворянства», Луначарский не смог ни правильно охарактеризовать пафос этого произведения, ни определить его главную мысль. В упоминавшейся выше статье «О творчестве Толстого», где главное внимание автора сосредоточено на ленинском подходе к оценке толстовского наследия, дана иная, во многом верная и прозорливая характеристика «Войны и мира». Луначарский говорит здесь о значении «мысли общенародной» в романе Толстого, о том, что «„Война и мир“ есть изображение совокупных действий» (А. В. Луначарский. О Толстом, стр. 116). А вот как звучит итоговая оценка романа, которую дает в этой статье Луначарский: «Все положительное в романе „Война и мир“ — это протест против человеческого эгоизма, тщеславия, суеверия, стремление поднять человека до общечеловеческих интересов, до расширения своих симпатий, возвысить свою сердечную жизнь. Это все очень хорошо» (стр. 119).

Нет нужды подчеркивать, что эта характеристика «чистоты нравственного чувства», отличающей роман Толстого, и ныне сохраняет свою свежесть и значение.

Наиболее интересны и ценны в публикуемой лекции те страницы, где Луначарский характеризует Толстого как художника. Мы находим здесь великолепные по выразительности и четкости определения таких сторон творчества Толстого, как его идейность, сознательная тенденциозность, как присущая его стилю высокая простота. Здесь дана блестящая по сжатости выражения и силе мысли характеристика своеобразия толстовского реализма, слога Толстого, его удивительного мастерства.

Завершают этот раздел лекции мысли, которые «прсятся», чтобы о них мы вспомнили сегодня — в пору горячих споров о будущем нашего искусства. Резко выступая против «телеграфного», «джазбандовского» стиля, Луначарский говорил: «Творить может только человек, и мы никогда не изобретем машины, способной написать роман (...)» Здесь всегда на первом месте будет любовное мастерство. Тщательность работы Толстого, это тот идеал, которому мы должны учиться».

ТОЛСТОЙ И НАША СОВРЕМЕННОСТЬ*

Т о в а р и щ и! Я прошу мою сегодняшнюю лекцию считать как бы некоторым актом чествования.

Я вовсе не собираюсь произнести перед вами хвалебную речь «великому писателю земли русской», как принято Толстого называть. У нас в Советском Союзе юбилей и торжество такого рода имеют несколько иной характер, чем в старой России и Западной Европе. Вот, например, характерный случай. Знаменитый французский писатель Андре Жид (которого считают одним из украшений французской литературы и притом человеком, специально старающимся проводить этические начала в своих романах) на запрос о том, чем он может откликнуться на юбилей Толстого, ответил таким курьезным письмом. Он говорит, что по поводу юбилея можно говорить только положительно, но это было бы пресным гимном; выражать же какое-нибудь критическое отношение к Толстому, сделать те или другие ограничительные замечания, по его мнению, неуместно во время юбилея.

Мы смотрим на это совершенно иначе. Мы думаем, что юбилей не академическое торжество — не пустой праздник, а, как все, что делается в нашей стране (или как надо было бы, чтобы все делалось в нашей стране), юбилей должен быть актом деловым и плодотворным. Раз известное лицо, историческое событие стоит перед нами как празднуемое, как чествуемое, то наше чествование должно заключаться в том, чтобы мы разобрались во всех положительных и отрицательных его сторонах и сказали бы о нем всю правду.

* Публикуемая лекция Луначарского является его последней работой, посвященной Толстому (после этого им было написано только предисловие к книге А. М. Евлахова «Конституционные особенности психики Л. Н. Толстого». М., 1931). В связи со 100-летием со дня рождения Толстого в 1928 г. была создана правительственная комиссия под председательством Луначарского, куда входили: М. Н. Покровский, И. И. Степанов-Скворцов и В. Д. Бонч-Бруевич. Как председатель комиссии Луначарский неоднократно выступал в советской и зарубежной печати, разъясняя значение юбилея Толстого, основные проблемы его творчества. Из многочисленных лекций и докладов Луначарского, прочитанных в этот период, остались неопубликованными только три. Их стенограммы хранятся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма. Одна из этих стенограмм совсем не правлена и не известно, где и когда был прочитан этот доклад (судя по общему построению и отдельным примерам, он бесспорно относится к этому же времени). Во второй стенограмме содержится доклад Луначарского «Толстой и революция» на торжественном публичном заседании Всесоюзного комитета по чествованию Толстого 10 сентября 1928 г. в Большом театре. Стенографическая запись сделана неудовлетворительно и правлена лишь частично. Той же теме посвящена и лекция Луначарского, сохранившаяся в третьей, полностью выправленной, стенограмме. Лекция была прочитана в Ленинграде 30 сентября 1928 г. и называлась «Толстой и наша современность». Впоследствии, после соответствующей переработки, Луначарский предполагал напечатать ее в Ленизге отдельной брошюрой (переработка заключалась главным образом в сокращении текста и небольшой стилистической правке, сделанной не рукой Луначарского, но им несомненно авторизованной). В архиве вместе со стенограммой хранится письмо Луначарскому из Ленизги от 21 марта 1929 г.: «Уважаемый тов. Луначарский. Ввиду выхода на рынок к юбилею Толстого большого количества литературы, а также очень продолжительной правки вами стенограммы, выход вашей брошюры в настоящее время явится запоздавшим. Одновременно высылаем вам вашу стенограмму» (ф. 142, оп. 1, ед. хр. 549).

Таким образом, последняя брошюра Луначарского о Толстом, подготовленная им к печати, осталась неизданной.

Лекция «Толстой и наша современность» завершает многолетнюю работу Луначарского по изучению философских воззрений и художественного творчества великого писателя.

В стенографической записи сохранились вопросы, заданные Луначарскому после лекции, и его ответы на вопросы. Поскольку эти ответы имели задачей еще раз популярно разъяснить некоторые проблемы, затронутые в выступлении Луначарского, мы не воспроизводим их в данной публикации.

В. З е л ь д о в и ч

По отношению к Толстому эта задача особенно велика. В Толстом несомненно есть, во-первых, черты огромной положительности, которые делают его в некоторых отношениях для нас и сейчас учителем. Он вовсе не умер, — интерес к нему гигантский. Ни один писатель, ни из старых, ни из новых, по справкам библиотек, не читается сейчас так, как Толстой; ни один писатель не имеет такого огромного влияния на нашу молодую пролетарскую литературу. Целый ряд крупнейших наших пролетарских литераторов, подаривших нам как раз наиболее ценные произведения, откровенно признаются, что они учатся у Толстого. Стало быть, относиться к Толстому просто как к прошлому мы не можем.

Вместе с тем в Толстом имеется целый ряд таких черт, которые объективно являются страшно интересными. Независимо от того, хороши они или плохи, — они грандиозны и выразительны. Мимо такой рельефной фигуры, мимо такой подавляюще большой фигуры нельзя пройти марксисту, нельзя пройти гражданину нашей страны без определенной, очень внимательной переоценки.

Наконец, в Толстом есть, как известно, и такие черты, которые прямо противоречат нашему миросозерцанию и нашей деятельности, которые ставят некоторые, притом чрезвычайно важные, линии его проповеди как враждебные нам.

Для нас чрезвычайно важно подчеркнуть, понять и поднять те стороны Толстого, которые могут быть нам полезны, расценить, поставить определенные ударения на всем том, что является характерным для понимания эпохи Толстого, и, наконец, установить для соответствующей борьбы против них те стороны толстовства, которые мы признаем вредными.

Мы полагаем, что юбилей, который проведен был в Москве, и вся юбилейная литература, которая создавалась вокруг этого юбилея, являются большим общественным явлением. Кое в чем мы поставили Толстого на тот пьедестал, которого он заслуживает, а кое в чем помогли преодолеть известные черты толстовства. Мы наметили ту работу, которую надо проводить, чтобы усвоить Толстого. А усвоить Толстого это не значит удариться лбом перед ним, как пред каким-то кумиром или размахисто отвергнуть — «ах, это не наше!» Усвоить — это значит проанализировать и разобраться весьма тонко во всем многообразном комплексе, который мы называем Львом Толстым и его наследием. В этой работе мы имеем могучий компас, ориентирующий нас. Это — заметки и поистине гениальные статьи Владимира Ильича Ленина о Толстом. Конечно, было бы смешно, если бы мы взяли эти статьи как нечто, так сказать, ограничивающее толстовские исследования, и стали бы бояться — бывают и такие люди среди нас — сделать хотя бы один шаг вправо или влево: учитель сказал, и извольте придерживаться того, что он сказал. Ленин написал несколько очень коротеньких статей с небольшим количеством страниц и строк; он гениально наметил основные подходы к Толстому, но, разумеется, сам представлял себе, что отсюда вырастут большие исследования Толстого и много новых соображений, что отсюда постепенно будет сооружаться большое здание в том же духе, который заложен этим ленинским первоначальным анализом произведений Толстого <...>

Что особенно поражает всех в статьях Ленина о Толстом — это установка того факта, что величие Толстого, значение, которое он приобрел в мировом масштабе, огромная художественная и внутренняя сила, которая заключена в наследии Толстого, характеризуется Лениным как отражение культурно-исторического сдвига в биологически гениальной, высокочеловеческой натуре. Ленин как бы предполагает заранее, что если есть великий человек, великий писатель, то это значит, что он отразил какой-то великий сдвиг. Если такой писатель звучит в мировом масштабе,

то это значит, что исторический сдвиг, который отражен этим писателем, представляет собой нечто для всего мира значительное.

Какой же социальный феномен, какое огромное историческое событие считает Ленин лежащим в основе художественных произведений Толстого? Это — решительная смена феодально-помещичьего или помещичье-самодержавного строя в России капиталистическим, буржуазным строем.

Толстой пришел к концу нашей дворянской литературы; вся она, начиная от Пушкина и до Толстого, знаменует разные этапы борьбы дворянства с наступающим на него буржуазно-мещанским, капиталистическим порядком. Великаны дворянской литературы, как Пушкин или Лермонтов, знаменуют собой в большей или меньшей мере внутренние сдвиги в сознании дворянства. Между зубрами, дворянами-консерваторами, дворянами азиатского типа, на которых в большинстве случаев опиралось самодержавие (хотя оно иногда и маневрировало в сторону либерального дворянства), развертывалось передовое дворянство, в большинстве случаев более или менее деклассированное, поколебленное в своих хозяйственных устоях, заинтересованное в развитии хлебного производства и хлебной торговли на новых началах. Эта часть дворянства шла путем дворянского либерализма и говорила: «Если мы хотим сохранить нашу родину, мы должны обеспечить за ней дальнейшее развитие, нам нужно ее европеизировать, нам нужно учиться у Запада той политической свободе, тому культурному подъему, тем формам производства и культуры, которые делают страны Запада более сильными, чем мы». Западническое либеральное течение в нашем дворянстве, как вы знаете, проявилось в объединенном типе кающегося дворянина, антикрепостника из числа самих дворян, которые имели блестящих представителей, доходивших до таких революционных форм, как левый декабризм. Это дворянство как будто делало уступку буржуазии, так как весь Запад свои республики, свои конституции, свой расцвет индустрии, сельского хозяйства, торговли строил под влиянием буржуазного переворота и благодаря буржуазному перевороту. Но дальнейший ход событий принуждает дворянство в последующих поколениях в значительной мере пересмотреть свой суд относительно европеизации России. Капитализм вторгается в самую Россию в лице Колупаевых, Разуваевых и Деруновых, так прекрасно описанных самими дворянами, в лице видного кулака, который, с одной стороны, рубит дворянские рощи и вишневые сады, скупает у дворян их имения или хлеб из имений, постепенно располагаясь как власть имущий в их стране, заключает закадычный союз с церковью православной, с самодержавием, которые ему мирволят, ему покровительствуют, и, с другой стороны, объявляет войну всяким демократическим и полудемократическим прогрессивным формам, которые могли бы поколебать его право как купца, как толстосума на разгромление, на грабеж в стране.

Капитализм в России — капитализм первоначального накопления, который с особенной силой стал сказываться в 50-е, 60-е, 70-е и т. д. годы. В это тридцатилетие он особенно выступил на первый план своей разбойничьей, своей разрушительной грабительской стороной и бил, конечно, не только по крестьянину, не только по мещанину и по начавшему оформляться под его ударами пролетариату. Он бил и по помещику.

Не только в консервативно-помещичьей, но и наиболее либеральной части дворян, которые были культурно очень высоки, утончены, — сюда направлялись как раз самые талантливые люди из дворянства — начался пересмотр отношения к Западу. Тут мы видим прежде всего организацию славянофильства.

Неудивительна та часть славянофильского движения, которую мы называем правым славянофильством, — оно было выражением тенденции мало-мальски грамотных из числа зубров и крепостников как-то оправдать себя перед своей совестью и всем светом, найти какие-то лозунги, какие-то правила, какие-то теории, с точки зрения которых можно было бы оправдать все их чужеродное существование, все эти темные, тюремные начала жизни, которых они требовали в своих интересах. И мы знаем, что даже Гоголь благодаря своеобразному пути своего развития пришел к правому славянофильству и путем ссылок на волю божью освящал и крепостное право.

Но гораздо интереснее левые славянофилы — Киреевский, Аксаков, Хомяков и др. Это люди, у которых были прекрасные чувства по отношению к своему народу, которые хотели правильного развития для России, которые хотели блага и себе, и другим, люди с большим европейским образованием, побывавшие в Европе и увидевшие, что европейское развитие, идущее по пути капитализма, приносит с собою отрицательные черты этого капитализма — беспощадную эксплуатацию человека человеком, разорение крестьян и среднего сословия, наряду с разорением феодального дворянства и превращением его в деклассированные элементы и, наконец, появление пролетариата, что капитализм несет с собою отношение ко всему денежное, сухо-бухгалтерское, меру всего на какой-то лавочный аршин, полную потерю всякой романтики, всякого духовного и душевного отношения к человеку. В великом памятник, который был первым проявлением острой пролетарской мысли в Европе — в «Манифесте Коммунистической партии», — Маркс и Энгельс после дифирамбов капитализму за его заслуги, за то, как он двинул вперед науку, как он развернул машинную технику, как он усилил власть человека над природой, переходят к мрачной странице, где говорится о прозаизме, аморализме капитала, об его бесчеловечности, о том, что он все раздает, все приводит к голому, лишенному всякого поэтического ореола расчету между людьми, к сухому эгоизму. Все это совершенно верно. Французская революция провозгласила господство разума в свете ясности и точности. И вот когда туман рассеялся, ясность и точность восторжествовали, то оказалось, что деньги являются двигателем всего, и именно расчет завладел всеми человеческими отношениями. Люди, которых очень любил Толстой, которых он считал своими предшественниками и союзниками — Карлейль, Сисмонди и Рёскин, — европейцы — они говорили приблизительно то же, что говорили наши дворяне; уж лучше было то время, когда хозяин и его крепостной связаны были человеческими отношениями — собственника и собственности; и гораздо хуже то время, когда капиталист относится к пролетарию как к совершенно чужому человеку. Помещик своего человека выхаживал и жалел, как жалел и выхаживал свой скот. Капиталист бездушно нанимает, выжимает последние соки, выбрасывает, берет другого на его место. В прошлые времена, — говорили Сисмонди, Карлейль и другие, — все-таки бог применялся как свидетель всякого договора и всяких междучеловеческих отношений, бог был, бога боялись; а тут бога забыли и кроме голого эгоизма ничего больше не существует — это падение, а не прогресс.

Наше дворянство, которое само страдало от натиска буржуазии, прикнуло к этой точке зрения. Я приведу два-три примера такого рода отношения.

Ну, скажем, Герцен Александр Иванович. Герцен был вождем и в значительной степени самым блестящим представителем помещичьего западничества. Вся его молодость протекала в бешеной борьбе против славянофилов. Он доказывал, что стремление левых славянофилов приукрасить прошлое, отнестись слишком критически к Западу и думать, что

Россия может на началах своей полуазиатской культуры добиться чего-то лучшего, чем Запад, — все это выдумки. Нет, говорил Герцен, нужно идти на выучку к Западу, к западной науке, к западным формам жизни. И молодой Герцен, блестящий, даровитый, верующий в жизнь, говорил: это ничего, что пока на Западе переходный период, что пока там господствует крупная буржуазия; после того как революционное движение возьмет в свои руки управление ходом человеческих дел, придет иное. Он разделял мечты лучших утопистов — Сен-Симона, Фурье и др. Ему казалось, что промышленность и наука в дальнейшем своем развитии приведут к социализму, т. е. к такому порядку, когда люди будут жить на началах братства и равенства.

Герцен эмигрирует за границу, живет за границей, доживает там до революции 48-го г., до попыток пролетариата взять власть в свои руки. Всякие Кавеньяки и Шварценберги расстреливают пролетариат, откидывают его назад, буржуазия оказывается полным хозяином положения, и Герцен в ужасе отплатывается от той самой Европы, которую он до тех пор постоянно прославлял. Герцен заявляет, что действительно торгаш, посредственность, мещанство, лишенное всякой фантазии, без культурных корней и без каких бы то ни было широких идеалов, узкий, ничтожный торгаш своими грязными руками завладел всем и, кроме дешевого ситца и всякой другой халтуры, ничего не будет выдавливать из человеческих мускулов и нервов. И некому даже протестовать против этого: все усилия, все гениальные усилия европейской мысли, европейского свободолобия в конце концов пришли к диктатуре мощны.

Ища в сем свете утешителя, ища силу, которая могла бы помочь из всего этого ужаса выбиться, к кому апеллирует Герцен? Конечно, не к дворянству, из которого он происходил. Он прекрасно знает, что российские дворяне, в большинстве своем скупые, малообразованные крепостники, — разумеется, не тот козырь, которым можно козырять против европейской буржуазии. Он апеллирует к другому полюсу деревенского мира — к мужику. Он говорит: русский мужик — вот где спасение; русский мужик верит, что земля божья, русский мужик неиспорчен, у него огромная внутренняя воля, он несет в себе какие-то высокие моральные правила. Если в России победит аграрная революция, русский мужик действительно сможет установить совсем новые формы жизни. У нас, к счастью, так говорил и думал Герцен, нет сильной буржуазии, которая смогла бы, повалив самодержавие, вместо свободы и социализма, о которых мы мечтаем, установить свой безрадостный конторский режим, и нет пролетариата, который не имеет земли под ногами и оказался слабым в своей борьбе с буржуазией, а есть вот это крепко на земле стоящее крестьянство, которое устроило и сохранило еще общину. Оно должно владеть всей землей, всем производством на земле. Если лучшая часть интеллигенции пойдет к крестьянству и научит его, как построить новый мир, в котором оно, крестьянство, и его дети, может быть счастливо, — тогда крестьянство откликнется на эту пропаганду интеллигенции и построит тот мир, о котором мы все мечтаем.

Дворянин Герцен сначала мечтал о том, чтобы европеизировать Россию, но когда он увидел, что сама Европа обуржуазилась, всеми силами своей барской души отвергает буржуазию и обращается к антиподу своему, к крестьянину, возводит этого крестьянина в перл создания и является, таким образом, родоначальником революционного народничества.

То же самое мы видим и на примере Бакунина. Бакунин — барин, большой помещик Тверской губернии. Он садится у ног Гегеля, учится германской философии, проникается революционными идеями Запада и хочет внести их в Россию; в качестве эмигранта мечется, как пламенный факел, по всей Европе, зажигает, где может, бунты, надеется, что евро-

пейская беднота окажется тем порохом, который он сможет поджечь своим революционным российским пламенем, и кончает тем, что начинает ненавидеть Европу, считает ее гниющей, отверженной и причаливает опять к тому же русскому крестьянину, рисует небывалые картины, апеллирует к Пугачеву, к Стеньке Разину, ждет того времени, когда интеллигент-бунтарь убедит крестьянина, что терпеть больше нельзя, и крестьянин возьмется за свой топор, чтобы срубить ныне существующее общество под корень и из нарубленных дров создать какие-то палаты, в которых будет весело и привольно жить будущему поколению. Бакунин придал утопии крепкий мужицкий запах, вернулся к русской земле, к русской деревне, к той, пока еще низко стоящей форме, которая обещает развернуться в самое высокое, что только может быть на земле.

Вот в этом контексте, в этой серии нужно будет рассматривать и Толстого.

Толстой происходил из очень крепкой помещичьей семьи, и сам был очень крепким помещиком. Можно сказать, что до 80-го года, хотя у него и бывали часто разные внутренние трещины, о которых говорят его биографы, в нем преобладал классово-сознательный дворянин. Когда он написал впервые свое «Детство» и «Отрочество» и блеснул им на всю Россию, Некрасов пригласил его в тот знаменитый журнал, который он редактировал, и познакомил с лучшими людьми России, предшественниками революции с великим Чернышевским во главе. Но Толстой, чтобы их подзадорить, разговаривал на такие черносотенные, густососово-дворянские темы, что они не знали, как подойти к этому колючему офицеру с такими парадоксально звучащими для их ушей чудовищно реакционными воззрениями. А Толстой потом говорил, что Некрасов его свел и познакомил с некоторыми клоповоняющими семинаристами, но он показал им их место. Это было столкновение людей двух абсолютно разных и непримиримых классов.

Уже в это время Толстой проникается такой сословной ненавистью к буржуазии, к мещанству, к капиталистическому укладу, которая совершенно соответствует прочности его барской натуры. Он барин, усадебный, хлебный человек, хозяин определенного числа душ во время крепостного права и после отмены крепостного права — помещик, от которого зависели крестьяне. Он любит старый уклад, этот прочный, помещичье-крепостнический уклад. Этот уклад трещит вследствие появления капитализма — и капиталистические отношения ему ненавистны. Он едет на Запад и из своего путешествия выносит самые безотрадные впечатления. Он не только отрицает начисто Европу, которую он увидел и которая кажется ему подлинно торгашеской, беспринципной, безбожной, но и отрицает все перспективы этой Европы. Он очень рано, еще в 60-х годах, начинает говорить, что все рассказы о прогрессе не стоят выеденного яйца. Он говорит, что весь этот прогресс приводит к одному: богатый эксплуатирует бедного, что все слова о счастье, к которому будто бы приводит наука и техника, неверны, ибо наука и техника служат только богатым, чтобы дать им возможность эксплуатировать других. В результате с одной стороны мы имеем эксплуатируемых, а с другой — свору эксплуататоров, которые боятся восстания против себя и трепещут перед той массой, которую они угнетают, массой также искалеченной и потерявшей всякий образ и подобие человека.

Вот в общем суть толстовского взгляда на Запад и его уклад. Но куда же идти самому Толстому, кого противопоставить Западу? И вот еще в эпоху «Война и мир», этой «Илиаде» русского дворянства, мы находим большой расцвет его классового самосознания. Он верит в то, что это самое прочное, самое лучшее, богатое внутренним содержанием сословие

породы человеческой — высокое дворянство. Он в это глубоко верит. И когда ему говорят, что в «Войне и мире» мы имеем только парад русского дворянства, ибо там нет крепостных, а разве эти самые дворяне не пороли своих крепостных, не мучили их? — то Толстой отвечает: во-первых, это преувеличено, а, во-вторых, — я об этом не хочу писать. Весьма откровенно и просто он говорит, что не желает изображать эти отрицательные стороны дворянства. Он изображает дворянство в его расцвете, он его безумно любит и хочет увековечить память об этом дворянстве.

Оно действительно представляет собою в известный период своего развития нечто в высокой степени замечательное. Почему?

В огромной нашей полуазиатской стране, на согбенных спинах крестьянства, которое ему <дворянству> служило и из которого оно могло делать все, что ему было угодно, облада большими материальными богатствами, наше крупное и даже среднее дворянство имело в себе еще свежие азиатские силы. Это были люди-охотники, которые проводили время на равнинах и полях, дышали свежим воздухом в зимнее снежное время и летние жары, дышали воздухом своих полей и своих лесов. Вся азиатская ширь и удаль была свойственна нашему дворянству. В то же время это были люди, которые ездили за границу, говорили на четырех или пяти языках и впитывали в себя все самое тонкое, что имелось на Западе, украшали свои сады мраморными статуями, слушали в изящных усадьбах музыку Бетховена и наслаждались романами и сочинениями первоклассных заграничных писателей. И это соединение европейской утонченности с этой азиатской удалью и ширью давало совершенно особый букет, которого раньше нигде не было и который позже никогда не повторится. Создавался особенный человеческий тип, по-своему очень могучий, и Толстой, который сам к этому типу всецело принадлежал, своим гениальным умом, своим гениальным чутьем мог почувствовать и своим гениальным художественным карандашом изобразить этот класс в его расцвете.

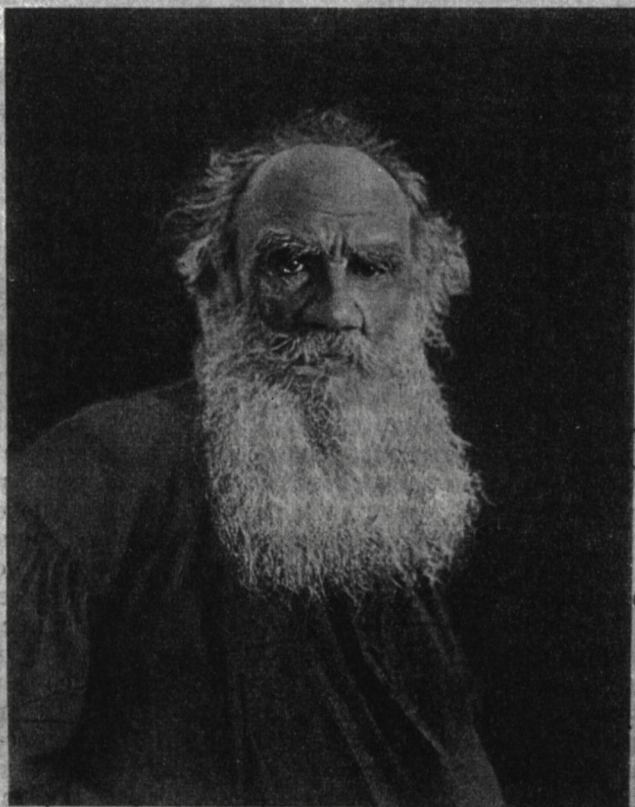
Но, чтобы его изобразить, этот расцвет, описывает ли он своих современников? Нет. Он чувствует, что его современники подгнили, что его современники дали трещину, что уже какая-то другая сила выпирает дворянство из жизни. Поэтому он идет к 12-му году; идет к Наполеоно-Александровской эпохее, он берет отцов — отцы кажутся ему более «настоящими», чем его поколение.

Несомненно, «Война и мир» является таким произведением, в котором Толстой старался дать путем апофеоза дворянства разрешение мучившего его противоречия — уходящая старая Россия и наступающая, отвратительно-мещанская буржуазия.

Что же он ставит в заслугу дворянству?

Николай Ростов лишен каких бы то ни было стремлений к свободе; он является чистокровным помещиком, уверенным в правде помещичьего режима и самодержавия. Когда Пьер Безухов в конце романа развивает ему свои декабристские идеи и говорит, что царь должен понять и пойти навстречу его мыслям о благе народа, то Николай Ростов говорит: «А если мне начальство прикажет посадить мой эскадрон на лошадей и ехать изрубить вас саблями в котлету, я это в одну минуту сделаю». И это он говорит ближайшему другу! Так, конечно, и должен был думать этот веселый, уверенный, сочный, биологически-мощный Николай Ростов, — ядреный русский помещик. Толстой прекрасно понимает, что он ограничен, что в сущности он глуп, но восхищается им так же, как он восхищается и борзой собакой, которая тоже глупа, но великолепным сильным движением хватает волка. Он восхищается грацией и биологической силой, целостной натурой Николая Ростова.

Милому внуку Ване
Дедушка Левъ.



и тебе всегда хорошо будет.
21 февраля 1909. Лев дедъ

Когда твой папа былъ
маленькой, онъ на бумажкѣ
написалъ себѣ что надо быть
добрымъ. Напиши это себѣ въ
сердцѣ и всегда будь добрымъ.

ТОЛСТОЙ

Репродукция с фотографии с дарственной надписью внуку И. М. Толстому:
«Милому внуку Ване. Дедушка Лев. Когда твой папа был маленьким, он на бумажке
написал себе, что надо быть добрым. Напиши это себе в сердце и всегда будь добрым и
тебе всегда хорошо будет. 21 февраля 1909. Лев дед»

Архив Толстого, Москва

Но Толстой сам был сложным человеком, у которого были в то время, как я уже сказал, большие сомнения; он изображает и колеблющееся, усомнившееся в себе дворянство.

Андрей Болконский — дворянин, жаждущий внутренней гармонии, дворянин, который хочет себя оправдать. Когда он, смертельно раненный, видит перед собой опрокинутое навзничь вечное небо и плывущие по небу облака, он приходит к выводу, что все земное тленно и преходяще, что глупым было в его жизни то, что он хотел богатства, знатности, чести и т. д., что, в сущности говоря, эта вечная природа с вечным небом и плывущими по нему облаками и есть какая-то незыблемая правда, а вся человеческая суeta представляет собою пустыки, какой-то наносный сор.

Пьер Безухов — все время неудовлетворенный, все время ищет и не находит какого-то внутреннего смысла жизни, который позволил бы ему сказать: «ну, теперь я вижу правильно, живу свято».

Что значат эти фигуры? Этим Толстой хочет сказать: мы, дворянство, не только Николай Ростовы; мы также носители величайших порывов совести, самых тонких и высоких проявлений духа. Где-то на заднем плане является крестьянин Каратаев; Толстой хочет показать, что этот крестьянин, гармоничная личность, находится в глубокой гармонии с бари, крестьянин, которому ничего не нужно, который всему спокойно подчиняется, всегда добродушен и держится всегда с достоинством. Это и есть тот идеальный крестьянин, на подневольном труде которого зиждется все прекрасное здание дворянства.

В сущности, в «Войне и мире» Толстой заставляет этот крестьянско-барский мир с его вождем, пассивным Кутузовым, который никаких планов не строит, никуда не стремится и полагается на волю божию, победить Запад с его Наполеоном и стремлениями к завоеванию мира.

Роман «Война и мир» был попыткой великого барина построить возвышенный мужицко-барский мир, где мужик внизу и, как кариатида, скрючившись, но покорный и счастливый несет на своей спине всю барскую постройку. Эта барская постройка должна была показаться такой прекрасной со всеми своими Наташами, со своей совестью, со всеми Пьерами, чтобы оправдать все противоречия. А ничтожный Запад с его тревогами, с его чрезмерным возвеличением разума отдельных личностей разобьется, как волна о скалы, о незыблемые твердыни русско-дворянского мира.

Но уже через несколько времени после этого, в «Анне Карениной» вы видите другое. Вы уже видите смятенный, совершенно не уверенный в себе роман. Вронский — это уже не то, чем был Николай Ростов. Вронский — человек недалекий, «молодец-мужчина», прежде всего — биологический тип, ядреная фигура; но у него есть какие-то такие черты, которые не позволяют ему быть счастливым. Вот, вместо того, чтобы устроить свою жизнь, как все, он взял да и полюбил чужую жену и на этом свихнулся. Прежний человек, настоящий человек так бы не сделал, а этот сделал — и в этом его несчастье. И в конце он не знает, куда деть свою забубенную головушку и отправляется на Балканы, чтобы там ратовать за каких-то братушек.

Еще хуже другой дворянин — Облонский. Это легкомысленный, растративший свое имение, полуразоренный помещик, который живет только подачками правительства, как чиновник, который униженно сидит в передней у какого-то европейского банкира и только потом уже краснеет, когда вспоминает, как этот банкир к нему невежливо отнесся.

Левин старается восстановить свое имение, добродушно ведет себя, женится, плодит детей, делает это, как сам Толстой. Левин — автопортрет Толстого. Но он не умеет обращаться с крестьянином. Здесь разрыв в внутренней помещичьей жизни. Какая-то волна новой жизни сносит его, разоряет его хозяйство, заставляет его постоянно думать,

постоянно мучиться над разными новыми вопросами, о которых отец Левина никогда бы не задумался.

Мир разлагается.

И самое центральное лицо — Анна Каренина — чрезвычайно интересно для внутреннего роста этого барина-Толстого, который потом придет к своим изумительным позициям.

Наташа Ростова — чудесная, биологически даровитая девушка, красота, свежесть, органическая сила; и в пору своего девичьего цветения она изображена Толстым так подкупающе, что во всей мировой литературе трудно найти образ девушки столь пленительный и чарующий. После разных там мелких грехов и неладностей, которые происходили в начале ее жизни, она находит подходящего мужа, рождает ему детей и после этого ничем не занимается, кроме пеленок, детской и домашнего хозяйства.

Но ведь Толстой и свою собственную жену замучил на детской, пеленках и домашнем хозяйстве. Из дневников Софьи Андреевны мы теперь видим, как от времени до времени живой человек вопит о пощаде. Но Толстой с твердостью настоящего человека от «Домостроя», вновь и вновь сует ее в эту детскую, в эти пеленки, в это хозяйство, утверждая, что это и есть настоящее призвание женщины. Наташа Ростова добровольно и охотно входит в это призвание. И когда некоторые говорили, — как жалко, что Наташа так много обещала и так мало дала, как жалко, что она такая изумительная девушка и такая прозаическая женщина, то они совершенно не понимали Толстого. Это все равно, как если бы назвать яблоневый цвет поэтичным, а самое яблоко прозаичным. Для Толстого плод следует за цветком, и Наташа замужем есть дальнейшая стадия развития женщины.

Толстой написал на первой странице романа «Анна Каренина»: «Мне отмщение, и аз воздам». Это указывает, что Толстой относится к Анне Карениной как к преступнице. К этому он и ведет весь рассказ. Тем не менее в этом же самом романе он указывает, что и Кити Щербацкая влюбилась в Анну Каренину, да и все читатели этого романа неизменно в нее влюбляются, потому что в этой женщине ее жизненные силы, ее порыв к любви, к свободе и счастью так велик, что он захватывает и убеждает нас. Толстой говорил, что это грех. В Анне Карениной красной нитью проходит требование ее плоти, требование того самца, которого она сама выбрала, а не сухаря Каренина, с которым ее соединила церковь и быт. И вот за то, что она посмела так поступить, она и погибает под колесами поезда. Здесь есть внутренний метафизический смысл: если ты хочешь счастья, то ты погибаешь, ибо счастье совсем не удел человека. Надо думать не о счастье и любви, а о долге. Если ты жена, тяни свою лямку; если у тебя есть дети, ты обязана исполнять свой материнский долг. А изменять свою судьбу не имеешь права — это эгоизм и грех.

Почему Толстой так проповедовал, почему столько страниц у него посвящено этой «высшей» этике? Ведь он сам любил жизнь, он сам изображает любовь как чудеснейшее человеческое цветение — и вместе с тем он ее растаптывает. Почему?

Да потому, что он в себе самом растоптал это. Он погребает в себе сам своевольную жадность к жизни. Почему он так возненавидел это счастье? Ниже мы вернемся к этому, а сейчас для нас важен только следующий вывод: в 70-х годах, когда написана «Анна Каренина», Толстой изображает дворянство разлагающимся. Дворянство уже не расцветает. Оно полно всяких страстей. Это уже не благоуханное цветение, которое существовало до сих пор, — это уже смятение, грех и отчасти сдача своих классовых позиций.

Тут с Толстым произошло то же самое, что произошло с Герценом и Бакуниным, только иначе и, пожалуй, во многом последовательнее.

Видя неминуемую беду своего класса, этот гордый дворянин не хочет едаться буржуазии на милость, он хочет найти свое русло, свою дорогу. Но он также понял, что с дворянами ничего не сделаешь. Вступив в борьбу с буржуазией, он стал критиковать всё — частную собственность, жажду к обогащению, эксплуатацию человека, науку, которая приносит с собой только обогащение одних и обеднение других, искусство, которое утешает только праздных людей, он стал бить наотмашь всю человеческую культуру — в этом его огромное революционное величие, хотя, по нашему мнению, он и зарвался в своей критике европейской буржуазной культуры, выжигая ее до корня. А после того, как он разбил, как ему казалось, этот стеклянный шар пышной европейской культуры, он хотел сказать — вот какие вы, а мы, мол,... оглянулся назад — и что же? Нашел, что «мы-то» такие же точно. Что он мог сказать о дворянстве? Что же — дворянство не имеет частной собственности, дворянство не стремится к обогащению? Дворянство не эксплуатирует людей? Дворянство не пользуется наукой для этой эксплуатации? Дворянство не развлекается искусством? Конечно, всё это есть. Поэтому, когда Толстой после разрушительной критики европейской буржуазии обратился к российскому дворянству, то пришел к выводу, что если бы в старой России было только дворянство, ее бы нужно было также испепелить критикой, как и Запад. Но у нас есть еще мужик, который нас спасет. В стародавнем общественном укладе был мир мужичий, мир без буржуев и без дворян. И если буржуи и дворяне хотят спасения и счастья, пускай они превратятся в мужика, ибо только здесь действительная правда. Правда заключается в том, что мужик никого не эксплуатирует, не заедает ничьей жизни, своими руками строит себе крышу над головой, своими руками обувает себя и одевает, своими руками себя кормит и не стремится к материальным благам. Когда ты будешь стремиться к большему, чем к пище необходимой, необходимой одежде, ты начнешь угнетать ближнего, начнется та вольтерка, из которой растут вавилонские башни со всеми искусствами, фабриками и заводами, которые не нужны для человеческого счастья — они растут на крови, на обиде, растут на грехе, и человек гибнет, забывает себя, уходит совершенно от своих первоисточков, от первородного благородства. А стоит только отказаться от стяжания, отказаться от частной собственности, от жажды богатства, от всего на вид роскошного, но грешного цветения, которое растет на этой почве, мы получим беззлобного, дружелюбного человека. Как взбаламученная поверхность жидкости, налитой в сосуд, представляет собой только рябь и волнение, а когда уляжется, успокоится жидкость, успокоенная поверхность оказывается пустой, не отражающей небо, отражающей звезды, так точно и человек, когда он успокаивается, когда он перестает искать стяжания, убьет в себе эгоизм и страсти, когда перестает быть взбаламученным, — он находит в себе бога, счастье, спокойствие и мир, находит любовь, потому что любовь появляется сейчас же, как угасает вражда, а вражда порождается именно этим стяжанием. Поэтому будем все, как крестьяне, не надо города, не надо железных дорог, не надо никакой науки. Надо жить почти как животное, но животное с человеческим разумом. Живя так, человек ощущает огромное блаженство тихого, покойного, любвеобильного бытия и этим самым возвращается к богу.

Вот социальная философия Толстого. Громадный барин, с огромными жизненными и умственными дарованиями, борясь за свой мир с буржуазией, своей критикой уничтожил все устои буржуазного мира, но тем самым зажег и свой собственный дворянский дом, но крестьянские избы он оставил. Это единственное место, где человек может жить праведной жизнью. Отсюда произошел целый ряд самых странных социальных выводов, к которым я еще возвращусь в конце моего доклада.

Когда мы, марксисты, говорим, что сущность Толстого то, о чем я вам сейчас сказал, то нам возражают: это незначительная часть Толстого. Не эти общественные интересы его прежде всего интересовали, не критика буржуазии как таковой, не разные вопросы классов и их взаимоотношений. Этого нет у Толстого. Толстой нам интересен как личность по своим интимным переживаниям, по постановке вопросов перед лицом совести.

На это мы отвечаем: было бы, конечно, очень жалко, если бы интимные переживания Толстого принадлежали только ему одному. Если бы он писал только о таких вещах, которые ему одному присущи, кто бы его читал? А он вызывал отклик в сотнях миллионов человеческих сердец. Это означает, что те же интимные переживания очень широко развиты в современном человечестве. Скажем, человеческий эгоизм — уже чего интимнее. Человек хочет думать только о себе, чтобы ему хорошо было. Между тем Адам Смит смог построить политическую экономию, исходя из той предпосылки, что всякий человек эгоистичен.

Когда человек имеет интимные черты, присущие и другим людям его класса и эпохи, то такой человек социален.

Так было и с Толстым. Ему присущи были два страха. Он боролся с ними и начал эту борьбу с очень раннего детства. Страхи эти были причиной его душевного переворота в начале 80-х годов и преследовали его до последнего издыхания, до последнего момента его жизни. Это был страх перед грехом и страх перед смертью и борьба с ними. Почему же эти чувства могут считаться широко социальными? Потому что понятие греха и борьба за праведность лежат внутри всего дворянского, крестьянского, мещанского, буржуазного общества, т. е. всякого общества, основанного на частной собственности.

Частный собственник, у которого есть свой дом, свое хозяйство, свое ремесло, своя торговля, своя семья, заботится о своем преуспевании, заботится об удовлетворении своих похотей и нужд и смотрит на окружающее как на что-то второстепенное, считает возможным вырвать кусок у другого себе на потребу. Это состояние конкуренции, постоянной конкуренции между соседями, конкуренции отдельных людей, отдельных групп, целых стран — оно так велико, так интенсивно, что еще во времена египетские и вавилонские сложилось течение, ярче всего сформулированное в общеизвестной римской пословице: *homo homini lupus est* — «человек человеку волк». Это еще очень мягко сказано, потому что волки, когда они охотятся стаей, друг друга не едят, а люди в классовом обществе друг друга едят и даже с большой охотой. В XVII в. один из типичнейших буржуазных мыслителей — Гоббс — повторяет, что человек человеку волк, и заявляет, что человек до такой степени существо дикое, настолько готов всегда растерзать всякого ближнего своего, подчинить его, довести до рабского состояния, и вести войну всех против всех, что лучше самый тиранский царь, самое кровавое правительство, чем отсутствие власти. Ибо только правительство, только полиция есть та сила, которая может установить хоть какой-нибудь порядок среди этих диких людей.

Не буду останавливаться на этой идее. Каждый из нас знает, что это такое; каждый знает, что и религия и мораль были призваны, чтобы умерить войну всех против всех, установить правила, контроль, внутренний контроль человека над человеком, над его порывом к греху, и что отсюда-то и произошло то построение, которое возвышается, как своеобразный купол, над всем этим хаотическим обществом. Когда человек стремится удовлетворять все свои страсти и этим самым приносит зло другим, это есть грех, это есть такое явление, которое при своем распространении и умножении сделало бы всю общественную жизнь невыносимой;

поэтому нужно установить правила, которые дошли бы до самого дна человеческого сознания, правила морали и совести, правила, говорящие о том, что он должен и чего не должен делать. Пределом же правильности жизни является ее праведность, святость, т. е. такая жизнь, при которой человек не грешит вовсе. Вот если бы все люди жили бы праведно и ни один из них не мешал бы другому, то тем самым было бы создано идеальное общество.

Почему Толстого так поразила и потрясла эта идея? Во-первых, потому, что у этой гениальной личности греховные побуждения были сильнее, чем у среднего человека. Если вы будете читать дневники Толстого, вы увидите, как он с ранней юности был обуреваем всеми этими страстями. Он хочет и богатства, и ведет часто очень крутую помещичью линию; например, как характерна фраза в его письме к Софье Андреевне, написанном в 1869 г.: «Торговался с мужиками; конечно, можно было бы еще больше нажать и еще больше из них выдавить, но и так ты, Сонюшка, будешь довольна». И этот крепкий хозяйственный уклон очень часто сказывался в течение всего того периода, пока Толстой был помещиком. У него, кроме того, был огромный позыв к честолюбию, к славе, к страшному, неиссякаемому властолюбию. Горький уже в то время, когда сам Толстой и весь хор благоговейных почитателей вокруг него также считали его праведником и святым, сказал, что первое, что поразило в Толстом, это необычайное властолюбие — все должны верить так, как он. Такой победительный задор, с которым он вступал в борьбу за свои убеждения, раньше проявлялся в его чисто светском, бытовом поведении.

В особенности ему присуща была половая страсть. Она была бичом его в течение всей его жизни, и эта борьба с похотью и быстрой сдачей всех позиций этой похоти играет в дневниках Толстого огромную роль.

Наконец, картеж, кутеж охватывал его иногда с силой какого-то вихря, и он в течение нескольких месяцев кружился в последних кругах разврата, — конечно, главным образом тогда, когда был молод. Все это ясно отпечатывается в его дневниках и его произведениях. Грех, который производил на него самое большое впечатление, такое, что в поздние годы оно послужило источником его социально гениальнейшего романа «Воскресение», — это грех мужчины перед женщиной, властного мужчины перед приниженной женщиной. Толстой в «Крейцеровой сонате» называет женщину источником самого жгучего наслаждения, какое есть на свете, самым соблазнительным существом для мужчины, и говорит, что сюда грех зовет, здесь дьявол тот самый распаляет наше тело, призывает нас, но, если вы поддадитесь греху, то разрушите жизнь какой-нибудь девушки и должны будете нести на себе этот крест.

Так вот эта ярость греховной, по мнению Толстого, плоти, эта сила эгоизма должна была ввергать его в периоды насыщенности, во время которых низкие голоса похоти уже молчали и начинали петь голоса высших соображений, которые упрекали его за то, что он нанес зло — сытая похоть уже не защищает человека, который по ее призыву совершил грех.

Толстому присуще было в сверхъестественной мере умение копаться в себе. Его дневники представляют собой это раскапывание всех своих язв. Когда пройдет буря непосредственной страсти, Толстой начинает разбирать, что это он сделал, не плохо ли он сделал и т. д., и т. д. И это присущее всякому человеку неорганизованного общества сознание того, что без высшей правды, без святости ждет нас гибель. В Толстом было развито до чудовищных размеров. У него бывают адские самоунижения.

Толстому нужно было найти путь, на котором можно было бы победить грех и уничтожить тем самым муки раскаяния. Какой же путь он находит? Он говорит: не надо ни к чему стремиться, надо совершенно не ставить перед собой никаких задач стяжательного характера. Это значит —

убить в себе страстность, это значит заморозить, утихомирить свои страсти. И если ты это сделаешь, то тем самым уходишь от греха, тем самым находишь в себе праведность, что-то человеческое, духовное, из души состоящее, посланное откуда-то сверху в мир материи. Эта материя со всех сторон обняла человеческую душу, наляпала вокруг нее наше тело со всеми его грязными страстями. Нужно вырваться из власти этой материи, вернуться назад в какую-то высокую светлую родину. И это может сделать душа только тогда, когда порвет все свои связи с телом.

Как буддийское учение призывает отказаться от всего, что есть славного на этом свете, так и Толстой зовет отказаться от всего, связанного с материей, стать свободным, стать богоподобным. В «Крейцеровой сонате», где борьба с грехом сладострастия доведена до высшей меры, там Толстой прямо ставит вопрос: ну, если мы совсем освободимся от этого сладострастия, если мы даже брак объявим источником ревности и греха, если мы скажем, что девственное состояние есть состояние, которое свойственно высокому человеку, тогда ведь прекратится рождение детей, тогда ведь человеческий род не сможет больше существовать? И несколько не пугаясь этого парадокса, Толстой отвечает: вряд ли когда-нибудь человечество к этому придет. Но допустим, что дошли бы до такой чистоты все люди на земле, не было бы брака, не было бы детей, умерло бы все человечество. Это было бы прекрасно. Это значило бы, что человечество победило материю, что оно гордо, тихо, мирно, чудно потонуло бы в божестве, в нравственности, в чистоте. Разве так важно жить телом? Это вовсе не важно, это только источник страдания, а такая смерть, которая получилась не потому, что у вас разбита голова или истощил ваши внутренности тот или другой микроб, а потому, что вы стали святым, — такая смерть есть победа.

Итак, Толстой в своей борьбе с грехом уже ведет нас не только к той свернутой крестьянской жизни, где нет ни науки, ни искусства, ни техники, а есть всеобщая бедность и всеобщее культурное убожество, но он уже поворачивает к тому, чтобы вести нас к концу человеческого рода. Он говорит, что счастье есть полный отказ от счастья. Это надо заметить.

Почему Толстой так ужасно испытывал страх смерти?

Он роется в себе постоянно. Первое, что его занимает, — это разобраться в своих собственных переживаниях, гармонизировать их, найти исход из внутренних противоречий. Но этот его внутренний мир, личность Толстого — она громадна. Поистине прав тов. Шацкий, наш знаменитый педагог: когда Толстой рассказывает, что он видит, кажется, что он видит сотней глаз; когда Толстой слушает, кажется, что он слушает сотней ушей. Это был огромный человек по своей биологической одаренности, который воспринимал в себя жизнь с неслыханной силой. Горький в своей знаменитой книге о Толстом рассказывает, как Толстой, думая, что он один, наблюдал природу; Горькому показалось, что это великий колдун и у него какая-то таинственная связь с природой. Это было правильное впечатление. В него природа потоками вливалась, а в нас она просачивается по капельке. Через него все чувства шли с огромным напором, у него был необъятный, огромный темперамент, который и делал его могучим талантом. Ощущения и мысли, которые могли являться и у мелких людей, он потому вознес на такую высоту, потому все делалось у него громадно, что он страшно любил жизнь.

Когда в начале 60-х годов, при поездке на Волгу для покупки имения, он испытывает то, что он называл «арзамасский ужас», когда на одном постоялом дворе на него напал ужас смерти, он вопит, буквально вопит: «Я хочу жить! Я проклинаю ту силу, которая создала нас и всех нас приговорила к мучительной смертной казни!». Настоящие вопли против

существования смерти как таковой. «Я люблю жизнь, я хочу жить. Жизнь должна быть бессмертна».

Толстой был религиозен, он долго верил во все церковные обряды, причащался сам и причащал детей. Но Толстой был вместе с тем слишком европеец, слишком культурный, слишком критический человек, слишком аналитик, и он не мог верить без сомнений. Ему, как Фоме неверному, нужно было вложить пальцы в ребра, нужно было, чтобы кто-нибудь незыблемо доказал, что человек бессмертен. Он не мог позволить обмануть себя никаким спиритам, никаким попам. Он страстно хотел верить, потому что если ты поверишь, то этот скелет-смерть над тобой не сможет насмеяться. И как Толстой изумительно сильно описал это состояние! Все потеряло значение: я хочу упиться розовым цветением видений, которые я вызываю, и я не могу ими наслаждаться; я люблю мою жену и не могу подойти к ней, ибо я вижу ее тело, которое постепенно умирает; я люблю детей, и я думаю — для чего они родились, когда осуждены на казнь? Вот как он испытывал страх смерти. И поэтому Толстой заставляет себя верить.

Он пришел к христианскому миросозерцанию. Он говорит: когда ты откажешься от всех страстей, когда не будешь от жизни ничего спрашивать, когда не будешь ценить никакого счастья и наслаждения земного, когда сделаешься к земному равнодушным, тогда тебе будет все равно — жить или умереть. И ты будешь умирать величаво и спокойно, так же, как умирают крестьяне, или как дерево в лесу, у тебя не будет судорог Ивана Ильича, который хватался за подушки и простыни, чтобы рука смерти не оторвала его от бытия; у тебя не будет глупого страха перед смертью, ибо ты не будешь дорожить побрякушками жизни. Но этого мало, говорит Толстой, — когда ты дойдешь до такого состояния, когда свод небесный отразится в твоей душе, ты ощутишь, что не земная суетная жизнь есть жизнь, что эта жизнь есть простое тревожление, простое преходящее, где ничто не существует, ибо каждый момент проходит — и вот его уже нет, а есть подлинная, вечная жизнь, и человек прикоснется к этой вечной жизни, когда уйдет из царства страсти, и тогда он поймет, что смерть ничего не изменяет, что этот покой, который живет в его душе, есть сверхчеловеческий, сверхприродный покой. Это Толстой хочет назвать богом. Поэтому он делает вывод: бог есть, во-первых, любовь; бог есть праведность, которая появляется тогда, когда человек очищается от грехов, ибо умерщвляет страсти; бог есть смерть, покой, мир, который мы ощущаем в себе тогда, когда отходим от бывания (?) и от всего царства страсти и похоти. Центральным пунктом проповеди Толстого сделалась поэтому проповедь опрощенчества, возвращения вспять, отказ от борьбы за свое счастье и т. д.

Таковы революционно-реакционные идеи Толстого.

Почему идеи Толстого революционны? Потому что, исходя из действительности, он тараном бьет всю жизненную неправду и под его ударами трещит и дрожит весь мир общественной неурядицы и общественного зла.

Почему они реакционны? На вопрос, какую жизнь надо построить, он указывает назад, призывает к отказу от всех завоеваний науки и техники, от всего, чего достиг сейчас человек в своем психологическом росте, от всех надежд на будущее. Нужно уйти в себя, сделаться маленьким, кругленьким, отвлечься от каких бы то ни было желаний, — назад к мужику, и дальше, чем к мужику, — к дикарю или еще дальше к какому-то ничего не желающему животному, к чему-то, что равно нулю. Так же, как и философия игогов, которая говорит — чем больше ты в себе все человеческое вытравишь, даже самую мысль, тем ближе ты подойдешь к тому, что свято, — это есть глубочайшая реакция, которая провозглашает

«НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ»

Черносотенцы пытаются за-
крыть Толстого.

Карикатура А. Тавица.
Акварель, 1908 г.

Институт русской литерату-
ры АН СССР, Ленинград



крушение всего, что выработано гигантскими усилиями человеческого гения и то что-то и может принести действительно человеческое счастье.

Реакционно в Толстом и то, что «путь праведный» он указывает как непротивление злу насилием. Он говорит: раз главное отказ, то чем от большего ты откажешься, чем больше ты ограничишь себя, тем ближе ты пойдешь к праведности. Нужно проповедовать богатым, что богатство призрачно, что сила — зло, не приносящее человеку счастья, нужно их уговаривать. А если их нельзя уговорить, то что же делать, мы, угнетенные, крестьяне и рабочие, давайте стоворимся не служить им, откажемся нести воинскую повинность, откажемся работать на фабриках и заводах, откажемся платить какие бы то ни было подати. Правда, нас будут лупить за это плетьюми, сажать в тюрьмы, гнать куда-нибудь на северный полюс — ну, что же, будем страдать, будем умирать, сладко страдать за правду, сладко умереть за правду. А в конце концов, этой проповедью и этим святым примером мы победим зло на земле.

Мы можем на это ответить: Лев Николаевич, вы христианин и верите, что две тысячи лет тому назад другой учитель — Иисус — в Палестине проповедовал то же, что проповедуете теперь вы, и вы верите, что он был более великим, чем вы; но вот прошли две тысячи лет и вам приходится проповедовать опять то же, потому что мир все еще лежит во зле; пройдет еще две тысячи лет, появится еще какой-нибудь Толстой или какой-нибудь Иисус и будет снова проповедовать то же — и так до бесконечности. Чем вы гарантируете, что ваша проповедь окажется сколько-нибудь сильнее, чем проповедь Иисуса в Палестине или

Лао-Цзы, или Будды, или других мудрецов, которых вы считаете более великими, чем вы сами?

Наше миросозерцание находится на огромном расстоянии от Толстого. Мы приемлем всю толстовскую критику общественной неправды. Но он не видит, что буржуазия-то «грешна», зато рабочий «праведен», он не видит, что несет с собой рабочий, такой же антипод буржуазному миру, каким антиподом дворянскому миру был крестьянин. Он не понимает того, что наука и техника только теперь, в первый раз в истории дозрели до такой мощи, когда, вооружась ими, человек может сделать богатым все человечество, когда именно развитие производительных сил, вызвавшее эксплуататорский строй общества, вызвало к жизни и сплоченный класс пролетариата и создало совершенно небывалые в истории предпосылки для того, чтобы под руководством организованного пролетариата трудящиеся массы смогли взять в свои руки эти гигантские силы — науку и технику. Толстой не видит, что все изменилось. Этого не было ни при Христе, ни при Будде, ни при Лао-Цзы, этого не было никогда.

Мы не хотим возвращаться к убогому человеку, у которого нет ни фабрик, ни железных дорог, ни морских судов, который живет дикарской жизнью, наоборот, идем к высокоразвитому человеку со множеством запросов, но и множеством возможностей их удовлетворить. Этот высокоразвитый человек может вступать в братский союз с другими людьми не на голой земле, не с сохой-матушкой, чтобы выковыривать себе из земли пищу, а в качестве хозяина колоссальных паровых, электрических сил. Если мы все это вырвем из рук частной собственности, если все это делается общественным достоянием, то в 10—20 лет — это ничтожный срок в всемирной истории — мы действительно организуем царство разума и светлых людей на почве разумного могущества над природой. Праведность в смысле мира между людьми, отказа от всяких войн — все это мы видим впереди, и к этому реально ведет и наше учение и наша деятельность. Но она ведет через борьбу, ибо те, кто стоят впереди и пользуются привилегиями, без борьбы не уступят. Вот огромная разница между миросозерцанием Толстого и нашим.

Я перехожу теперь от Толстого — мыслителя и проповедника — к Толстому-художнику.

Вряд ли Толстой мог бы достигнуть такой славы и такого влияния, если бы у него не было огромного дара заражать других людей своими чувствами и идеями, он знал этот свой дар и называл его художественным дарованием. Он говорит: искусство сводится к тому, чтобы уметь заражать своими чувствами и идеями других людей. И он считает, что сила заражения велика тем, что она показывает в образах какие-то задушевные чувства и крупные идеи, носителем которых является художник. И действительно его художественные произведения насыщены его идеями.

Толстой является прежде всего писателем тенденциозным, писателем идейным. Его огромная заслуга заключается в том, что он своими произведениями показал, какого величия, какой напряженности, какой захватывающей интересности и какого распространения достигает писатель, когда он является художником по форме и глубоким по содержанию. Беспреданно встречаем мы в наше время людей, которые говорят, что было бы содержание, а форма не так важна, — надо только, чтобы направление писателя было правильное, чтобы он агитировал в пользу нашего дела и пропагандировал умные вещи. Но люди эти забывают, что если это не будет облечено в художественную форму, то гораздо лучше и полезнее изложить это в виде газетной статьи, речи или лекции. С другой стороны, искусства только как формы Толстой не признавал. Толстой говорит, что такое формальное искусство есть чистый разврат, чистей-

шее самоуслаждение, которому грош цена. Там, где нет великой идеи, где ничего крупного и нового художник не придумал, где он ничего горячо не прочувствовал, там он не смог писать. Пролетарские писатели также ненавидят чисто формальное искусство и убеждены, что без того, чтобы это искусство было идейным, живым, полнокровным, всесторонним, нельзя добиться настоящего эффекта.

Толстой был величайшим реалистом. В его произведениях вы не найдете ни абстракций, ни фантазий; они дышат настоящей жизнью. Сам Толстой был великим жизненным, были страшно сильны все его страсти, ощущения. Отсюда богатство красок, которым он располагает. С другой стороны, он был правдолюбом, правдоискателем, не хочет лгать ни себе, ни другим. Он ошибался, но то, что мы считаем его ошибками, он считал глубокой правдой. Он не позволяет себе врать, не позволяет себе приукрашивать, он хочет быть бесконечно честным.

От этого обилия содержания и нежелания приукрашивать, извращать содержание и получается реализм. Если бы перед нами был очень обильный содержанием автор, но не имеющий писательской совести, было бы огромное цветение, хаотическое изобилие, но не было бы реализма.

Чтобы быть подлинным реалистом, чтобы исходить из огромного жизненного опыта и жизненных впечатлений и вместе с тем не уклониться от действительности, чтобы быть таким реалистом, Толстой выработал свой особый слог.

Когда вы читаете Толстого, вам кажется, что он полуграмотный человек. У него косолапые фразы. Недавно один московский профессор сказал: фраза, которой начинается «Воскресение», совершенно неграмотная, и всякий учитель русского языка поставил бы два с минусом своему ученику, если бы он ему принес такую страницу. Как же это так? Толстой переписывал по 5—7 раз все свои произведения, делал бесконечные исправления, вынашивал все это, и вдруг такое несовершенство! Это несовершенство вовсе не случайное. Толстой сам хочет, чтобы его фразы были корявы, он боится того, чтобы они были вылощенные и приглаженные, потому что он считает, что это было бы несерьезно. Никто не поверит человеку, который говорит об очень важном и не волнуется и следит за тем, чтобы у него голос был музыкальный и все шло тонко и гладко. В этом случае теряется искренность, теряется вера в то, что человек рассказывает вам о том, что для него действительно важно. Толстой хочет добиться безыскусственности, величайшей простоты во всем, что он говорит от себя, во всем, что он говорит, как автор. Он много говорил, например, о слоге Тургенева, о слоге Короленко. Это были великолепные стилисты, но он их до некоторой степени осуждает. Он считает, что их фразы слишком изящны, что их стиль слишком полирован, слишком много прибавлено сахара, который якобы должен быть приятен для читателя.

Такое сравнение можно употребить: Толстой передает все так, что вы не видите книги, забываете автора — а это и есть высшее искусство, которое только можно себе представить. Если же вы будете читать Тургенева или Короленко, то вы будете видеть все, как через узорные окна, вам будет казаться — какое хорошее стекло, какие краски и разводы, вы будете все время видеть автора, искусного стилиста, который стоит между вами и действительностью, и это будет вам мешать впитывать подлинную действительность.

Значит ли это, что наивный писатель, который не умеет владеть своим слогом, может передать действительность? Вовсе нет. Простота Толстого — это высшая простота, это простота человека, преодолевшего всякую искусственность, который отбрасывает какие бы то ни было цветные очки.

потому, что они ему больше не нужны, и который настолько мастер, что может показать вещь как она есть.

Вот этот слог, совершенно подходящий к реализму, для нас чрезвычайно важен.

Ново и значительно в Толстом то, что он необычайный мастер интроспекции или психологии интроспекции, т. е. что он показывает то, что происходит внутри человека.

У нас не так давно разные критики писали, что пролетарский писатель не должен заниматься психологией, — что это, мол, такое психология, когда мы вообще душу отрицаем? Извините, нам нужно знать, что человек думает, что чувствует. Мы видим, что человек поступает так-то и так-то, но нам важно знать, что он думает. Нам нужно знать себя и других и нужно знать не только то, что выходит на поверхность, но нужно знать и общий склад характера, знать то, что скрыто. У Толстого необычайная способность перевоплощаться в разных людей. Он говорит за старуху и за молодую девушку, от лица ребенка, лошади, он говорит от лица людей самых различных классов и каждый раз с самой убедительной правдой. Это — сила, которой обладает только художник. Другого способа проникнуть в сознание у нас нет, и поэтому передовые, наиболее зрелые пролетарские писатели, конечно, этим воспользуются. В произведении молодого писателя Фадеева, в повести «Разгром», вы увидите, что делают и чувствуют разные лица, и это сделало эту повесть наиболее богатой своими красками. Фадеев — талантливый ученик Толстого как художника.

Затем чрезвычайно важна у Толстого тщательность отделки, эпичность, спокойствие рассказа. Уже Достоевский, который был городским жителем и городским писателем, с завистливой ненавистью говорит о Толстом в этом отношении: «Хорошо ему с Ясной Поляной, где он жил сначала хозяином, а потом дорогим гостем, хорошо ему, обеспеченному человеку, сидеть и писать годами свои романы, а вот мне какво, когда мне пишет редактор: если вы не пришлете мне следующей главы к следующему номеру, то... Что то? А то, что я останусь без денег, не смогу купить лекарства для своей жены, не смогу выехать из города, где мне надоело жить, буду нуждаться в самых элементарных и необходимых мне вещах». А что же пролетарские писатели? Пролетарских писателей мы не можем обеспечить. Когда переходное время перейдет в эпоху органического социалистического строительства, всякий будет достаточно обеспечен, чтобы спокойно работать на том или другом любимом деле, но сейчас этого еще нет. И сейчас, говорят некоторые наши писатели и их теоретики, нам скорее надо учиться у нервных писателей, которые пишут быстро, которые схватывают поверхностно, как говорил Чехов: «Зачем вам описание целой повести о лунной ночи? Скажите, что на мельничной плотине горлышко бутылки сверкало на лунном свете. Вот вам и лунная ночь». Но это жидко, это импрессионизм, свойственный тому бегу, который развернуло буржуазное мещанство в эпоху машинерии и, главное, превратностей конкуренции. Нужно ли пролетарскому писателю этому подчиняться, должен пролетарский писатель писать сверхчеховски, в джазбандовском, телеграфном стиле или, наоборот, надо вернуться к настоящему подлинному законченному мастерству, к этой громадной добросовестности и убедительности? Нам говорят: мы не имеем времени сейчас так писать. Да мы не имеем времени и читать. Нашему читателю нужно быстро прочесть маленький рассказ. Где уж тут хватит времени чтобы прочесть роман в несколько томов? Так ли? Действительно ли это так? Кроме того, в наше быстролетное время интерес к некоторым темам быстро охладевает. Но я говорю здесь не о газетно-журнальных, полухроникерских произведениях, а о тех, которые охватывают значитель-

ные темы, имеющие длительное значение. Спросите-ка библиотекарей, что сейчас больше всего читают? Романы Толстого и Достоевского. Никто не пугается этих томов. Когда хорошо написано, найдется и время почитать. А потому надо, чтобы находилось и время писать. И как это может быть ни больно сказать в наше торопливое время молодым писателям, а приходится: продумай то, что написал, потом отложи, пусть полежит, перепиши, продумай еще раз, еще раз перепиши. Правда, гонорар тебе дадут не очень большой. Материально это тяжело. Может быть, потому и не следует отрываться пролетарскому писателю от станка, от той или другой службы. Писать такие вещи нужно медленно, немного часов в день и не всякий день. Нужно всякую идею вынашивать, продумать. Может быть, в этом упорстве, на которое пролетарий вполне способен и которым он выгодно отличается от нервничающего интеллигента, он как раз и найдет и уверенность в себе и эпическое величие. Вот критик тов. Ермилов говорит, что читаешь Толстого — «чужие люди», а нельзя их забыть, не выбросишь их из памяти; а в наших произведениях люди не живут, вроде кукол. Это отчасти потому, что куклу можно быстро изобразить, а литературно изобразить целый мир живых людей — это дело, которое дается не только талантом, но и временем, очень большим усиленным трудом.

Рельсы можно гнать через машину, ситец можно делать при помощи машины, но творить может только человек, и мы никогда не изобретем машины, способной написать роман, а поэтому творчество всегда будет делом человеческих нервов и человеческой руки. Здесь всегда на первом месте будет любовное мастерство. Тщательность работы Толстого, это тот идеал, которому мы должны учиться.

Плеханов сказал, что мы принимаем Толстого «отсюда и досюда». Наши юбилейные торжества сказали то же самое: «отсюда и досюда».

С Толстым нас роднит этот властный порыв, благодаря которому барин Толстой рванулся из своего мира и дошел до своих революционно-анархических разрушительных идей. Но мы отрицаем то, в чем сказалась обратная сторона его принадлежности к старому миру, — непонимание значения науки и техники, полную глухоту по отношению к пролетариату, к тому, что он с собой несет; и отсюда ненависть к революции. Отрицаем его идеал — крестьянскую ограниченность, непротивление злу насильем, полезное нашим врагам и вредное для нас.

Нам говорят: вы отрицаете Толстого моралиста и мыслителя и принимаете Толстого как художника. Это неверно. Мы вовсе не все его учение как мыслителя и моралиста отрицаем. Его критику буржуазного режима Ленин охарактеризовал как образцовую и в некоторых отношениях непревзойденную. В критической своей части Толстой могуч и как мыслитель. С другой стороны, если мы скажем, что художника Толстого можно брать без критики, то мы окажем плохую услугу нашей молодежи и пролетариату, ибо в художественные произведения Толстой вкладывал свои идеи. Так что и здесь сохраняется правило: «отсюда и досюда».

Вот те выводы, к которым мы приходим. Мы, конечно, гордимся, когда иностранные писатели, приехавшие сюда как своего рода волхвы, приносящие дары, но не к колыбели, а к могиле Толстого, заявляют: какой великой должна быть страна, в которой мог родиться такой гений! Да, из глубины крестьянских страданий, во время переворота, в котором Россия переходила на другой этап исторического развития, и из глубоких сомнений передового тогда по своей культурности класса — дворянства выросла колоссальная, проблематическая, мучительная и двойственная фигура Толстого.

Но у нас есть еще несравненно бóльшая гордость: когда капитализм создал у нас достаточную пролетарскую базу, наша страна выдвинула для нового сдвига нового гения — Владимира Ильича Ленина, к которому устремились глаза и руки трудящихся и угнетенных всего мира. Он тоже принес с собой правду, но эта правда уже не проблематическая, это — действительная правда, не двойственная, это — правда вершинная, это правда, которая есть правда сегодняшнего дня.

Мы должны читать Толстого, изучать, воспринимать то, что есть в нем благотворного, и отстранять то, что у нас может вызвать сомнение и что мы должны в конце концов преодолеть. С этой точки зрения Толстой представляет огромный культурный материал.

Вот почему правительство, становясь по отношению к Толстому на критическую точку зрения, издает целый ряд полных собраний его художественных сочинений, огромное, в 92 томах, академическое национальное издание произведений Толстого, куда входит каждая его записочка, вся его переписка, все его дневники, все, что только этот гениальный человек писал. Все, что он нам оставил, мы хотим сделать достоянием народа.

Владимир Ильич, отрицая многое в Толстом, осуждая за многое Толстого, говорил: «в царской России его произведения не являются достоянием народа; нужно, чтобы пришел социализм для того, чтобы художественные произведения Толстого сделались достоянием народа».

Мы знаем, что народ наш не примет Толстого с благоговением и не критически и, с другой стороны, не отвергнет его как нечто ему ненужное. Наш великий класс, так во многом чуждый ему, не отворачивается от него и не преклоняется перед ним, а говорит: великий предшественник, великий брат, великий сотрудник, ты велик в том, что в тебе есть положительного, и велик в твоих ошибках. Ты не можешь умереть, ты будешь жить вместе с нами, ты будешь вместе с нами работать над построением того человеческого счастья, о котором ты мечтал, хотя и намечая неверные пути для его достижения.